



«ЦВЕТ, СВЕТ, МЕЧТА»

Странно у меня все как-то вышло. Сам армянин, учился в русской школе, где преподавали азербайджанский и немецкий. В школе говорил на русском, дома на армянском, на улице — на двух языках. Нагорный Карабах, где я жил, хотя и армянская область, но административно подчиняется Азербайджану, и мне так и не приходилось увидеть истинной Армении с ее Ереваном.

Эту автобиографическую заставку, носящую, разумеется, сугубо личный характер, я привел только для того, чтобы признаться, что, как и многие, я знал Армению лишь по рассказам, по книгам и, конечно, по полотнам Сарьяна.

И вот я в Ереване, где живет почти треть республики. Оставив как всегда заснеженную Камчатку, думал, увижу солнечную Армению, но... по-видимому, привез сюда частицу Камчатки. Все кругом белым-бело. Старожилы (ах, уж эти всезнающие старожилы) утверждают, что подобной зимы не было лет сорок. Наверное, это один из тех случаев, когда они правы, ибо в городе только и разговору о снеге. Я обратил на это внимание потому, что не помню, чтобы на Камчатке кто-нибудь высказал вслух свое отношение к снегу. «Два месяца держится снег», — кто с гордостью, кто с возмущением говорит сам себе, войдя, скажем, в автобус. На Камчатке, конечно, другие мерки: «В прошлом году окно врачебно-физкультурного диспансера занесло полностью, а в этом — осталось верхнее стекло».

Еревану не идет снег, он, так сказать, ему не к лицу. Этот город слишком уж красивый, алый от туфа, нежный от узоров на камне, хрупкий от огромных стекол. В плену у снега и мороза он напоминает молодое деревце, распустившее почки и попавшее во власть непогоды. И все-таки я ухитрился увидеть лето. И не раз, а десяток: я побывал на юбилейной выставке Мартироса Сарьяна.

Дом-музей Мартироса Сарьяна — это трехэтажная картинная галерея, построенная в современном стиле из красного туфа и стекла. История помнит десятки имен художников, к

которым признание пришло только после смерти. В этом отношении Мартирос Сарьян составляет счастливое исключение.

В многочисленных залах музея столько света, столько тепла, столько чудесных красок, идущих от картин Сарьяна, что я и впрямь подумал, будто действительно наступило лето. Каждый день после занятий я прихожу сюда и подолгу стою перед творениями кисти великого варпета — как любовно называют здесь Мартироса Сергеевича. Я научился видеть за кажущимися грубыми мазками, за нереальными, на первый взгляд, сочетаниями красок самую суть картины. Недаром эпиграфом к выставке являются слова Сарьяна: «Земля как живое существо, она имеет свою душу, и без родной земли, без тесной связи с родиной нельзя найти себя, свою душу».

Глядя на эти оригиналы-шедевры, я с тоской думал, как же все-таки полиграфическая техника если не бедна, не совершенна, то во всяком случае абсолютно не способна передать существо картины, подлинную душу настоящего искусства.

О встрече с варпетом я и мечтать не мог. Мне сказали, что он болеет. Гонконгский грипп и его не пощадил. Болезнь вызвала тревогу у всего Еревана. Как-никак — восемьдесят девять лет. Но вот настал День, когда миловидная девушка сказала, что Мартирос Сергеевич через час меня примет. Я ходил по залам (уже в который раз), то и дело поглядывая на часы, стрелки которых, казалось, стоят на месте. Трудно было сдерживать волнение, находясь в окружении шедевров художника, о котором говорят и пишут во всем мире вот уже семь десятилетий; чья первая выставка состоялась в Москве в 1900 году, а последняя — когда я пишу эти строки; чьи картины находятся почти во всех музеях мира; чьи полотна выставлялись на двухстах выставках, организованных в Москве, Ленинграде, Ереване, Нью-Йорке, Париже, Венеции и еще в нескольких десятках городов мира.

Я должен был встретиться с художником-поэтом, о котором Анатолий Луначарский говорил: «Уже в первый период деятельности Сарьян занял очень видное место... Он давал совершенно необыкновенные краски, никем не использованный стиль».

Сарьян большой, красочный музыкант, подлинный художник, композитор и горячий поэт. Свои привлекательные построения он делает на живом материале живой Армении».

Я должен был встретиться с художником-реалистом, о котором Илья Эренбург говорил: «Сарьян был живописным реалис-

том с того самого дня, когда написал свой первый пейзаж. Он удивительно целен и последователен. Слово “манера” к нему не подходит: манеры можно менять, но не глаза и сердце.

Сарьян не локальный художник; его корни в армянской земле, его кисть не знает границ».

Я должен был встретиться с человеком, о котором Луи Арагон писал: «Свет Армении доходит до нас благодаря Мартиросу Сарьяну. Радостный свет, озаряющий людей, горы, плоды. Это сокровище, найденное вновь. Цвет у него столь прекрасен, что рядом с нашим Сезаном и Матиссом столетия должны отвести Сарьяну первостепенное место...»

Время шло очень медленно. Ждать было нестерпимо. Я остановился перед автопортретом, написанным совсем недавно, и стал с него делать наброски в своем альбоме. Старое лицо: тонкие губы, выступающие скулы, морщины, белые брови и волосы. Говорят, художники очень схожи с поэтами и отличаются от них тем, что живут долго. Здесь Сарьян не составляет исключения. 89 лет. Правда, цифры сами по себе ничего не говорят. Другое дело, когда их подашь по-иному, когда подумаешь, что Мартирос Сарьян в 20 лет был уже зрелым художником, а это было... в 1900 году.

Наверное, трудно объяснить, почему он стал художником, так же как трудно сказать, почему тот или иной стал физиком или врачом. Но сегодня, глядя с высоты времени, уже трудно себе представить, чтобы Сарьян не стал художником.

«Цвет, свет, мечта — вот чем я начал жить». Эти слова принадлежат Сарьяну. Как видно, рядом с, так сказать, чистейшими атрибутами живописи стоит слово МЕЧТА, без которой нет художника, нет поэта, нет ничего вдохновенного.

Когда я делал очередной набросок, ко мне подбежала та же милотидная девушка, одна из многочисленных гидов музея, и, едва переводя дыхание, выпалила:

— Где же вы? Вас спрашивает Мартирос Сергеевич.

Я машинально посмотрел на часы и... О, ужас! Они у меня действительно остановились.

Мартирос Сергеевич стоял у дверей, выходящих в небольшой вестибюль музея, рядом с ним толпилось с десятков пионеров, невесть откуда взявшихся. Он стоял в пальто, в шляпе, из-под полей которой свисали вьющиеся пепельно-белые волосы. Пионеры, видимо, воспользовавшись счастливым моментом, окружили варпета и дружно беседовали с ним. Меня пропустили вперед.

— Так это вы с Камчатки? — Мартирос Сергеевич подал мне сухую, но еще крепкую руку. — Что-то не похоже.

Дети засмеялись.

— Почему не похоже, Мартирос Сергеевич? На Камчатке такие же, как и везде.

— Из Австралии приезжали... Но с Камчатки... Проходите. Проходите.

Мы вошли в просторную комнату, по-видимому служащую приемной. Телевизор, два шкафа с книгами, еще какие-то шкафы, большой полированный стол, несколько кресел, стульев. На стенах картины. Их очень много. Многие из них не входят в каталоги. По-видимому, они являются сугубо личной собственностью художника.

Пока мы сидели и я приглядывался к обстановке, к которой постепенно начинал привыкать, так сказать, приходить в себя, Мартирос Сергеевич несколько раз вслух высказывал удивление и даже сомнение, что перед ним сидит живой человек с Камчатки.

— Давайте-ка рассказывайте мне про Камчатку, — Мартирос Сергеевич, что называется, взял быка за рога.

— Да как о ней расскажешь? — удивленный такой прелюдией, сказал я. — Она такая большая, необычная...

— Я знаю, что вы и врач, и путешественник, и журналист, значит, вы художник, ведь художник не только тот, кто пишет картины, а настоящий художник не должен говорить, что, скажем, Камчатка необычная, как вы говорите. Все в мире необычно: Азия необычна для европейца, Америка — для азиата, Камчатка, ну, скажем, для кавказца. Только вот само слово «необычное» это абстрактное слово. Вы должны показать эту необычность. Ну вот, например, чем вы там питаетесь?

На какое-то мгновение я попросту растерялся. Меня выручил собеседник.

— Только если будете писать — а писать будете, по глазам вижу, — не вздумайте намекнуть, что вот, мол, даже Сарьян думает о Камчатке черт-те что. Думает как о диком-предиком крае. Я старик и знаю, что пока не повидаетешь глазами, нельзя ни о чем судить, даже о Камчатке, тем более сегодня. Ну вот скажите, у вас там есть свои художники?

Глаза его шурились, но я видел, как они задорно искрятся.

— Вы, варпет, спросили про художников... У нас есть своя мастерская, свои мастера, члены Союза художников. Их рабо-

ты выставляются на полуострове, на зональных, республиканских, союзных выставках...

Неожиданно Мартирос Сергеевич весело засмеялся. Возраста его (да еще какого!) я не замечал. Мне казалось, что я беседую со сверстником.

— А вы мне нравитесь, — продолжая смеяться, сказал он, — смотри-ка, с каким рвением защищает свою Камчатку. — А сколько у вас членов Союза?

Не зная точной цифры, я как-то неожиданно для себя стал вслух перечислять знакомых художников, при этом загибая пальцы.

— Анатолий Винокуров.... Рустам Яушев...

— Рустам? — удивился Мартирос Сарьян. — Он что, из Азербайджана?

— Нет. Он из Ташкента. Узбек.

— Ты смотри, какая она, Камчатка. Всех притягивает, и армян и узбеков. А ваши художники любят Камчатку?

— Камчатку все любят, кто там живет. Кто ее не полюбит, того и сама Камчатка ке полюбит. В таких случаях разговор бывает коротким, уезжают с полуострова. Поэтому там остаются лучшие, сильные и конечно влюбленные в Камчатку.

— Это очень хорошо... Ну еще что-нибудь расскажите... Вот вы, значит, любите путешествовать и потом, наверное, все описываете. А как вы пишете?

— В каком смысле? — ответил я в недоумении вопросом на вопрос.

— В прямом. Вот вы пишете, что вы видите, запоминаете?

— Примерно так.

— Это неправильно. Вас никто читать не будет. В лучшем случае вас будут читать друзья и близкие, и то, потому что они волнуется, беспокоятся за вас. Писать надо не о том, что видишь глазами и слышишь ухом. То, что вы видите глазами и слышите ухом, — это видят и слышат все.

— Вот была ли в жизни такая Наташа Ростова? — продолжал варпет. — Наверное была. Ее видели и слышали тысячи людей. Женщина как женщина: линии, формы, шея, глаза. Все, как у всех женщин. А Толстой написал портрет и, кроме всяких обязательных, заметьте, обязательных, линий и форм, передал душу. Да еще как передал! Это очень трудно — передать душу, но надо, если ты художник. Наверное, улыбка живой Монны Лизы не всем нравилась. Но вот Леонардо да Винчи внес в ее лицо свою душу, одухотворил ее улыбку, и

она, улыбка этой женщины, стала загадочной, которую вот уже сколько веков, сколько поколений не могут разгадать. И не разгадают никогда. Напрасны будут поиски. Улыбка Моны Лизы — это продукт неповторимого мира Леонардо да Винчи, и этот мир ушел вместе с художником, этот мир никогда не повторится. Будут улыбки лучше, хуже, если можно так оценить, но не ее, Джоконды. В этом и только в этом — художник.

Сарьян, казалось, молодец на глазах. Он как-то распрямился, жестикулировал руками живее, чаще. Я сидел робко, боясь шелохнуться, чтобы не пропустить ни одно слово, потому что иногда он говорил очень тихо.

— Все это можно сказать иначе... — продолжал он, — вот вы умеете врать?

— Как врать? — улыбнулся я. — С детства учили...

— Э, э!!! Это не то. Я не про то. Я говорю врать, а не обманывать. «Врать» — конечно, можно найти другое слово, но это уже будет не то. Врать — это не значит говорить неправду. А это значит не быть натуралистом, что является хуже любой неправды. Фантазируйте сколько угодно. Фантазируйте, но говорите правду, вернее, врите так, чтобы не повредить правде, чтобы не задеть ее даже мизинцем. Так, чтобы никто не мог вам бросить в лицо сакраментальное «Не верю» Станиславского. Если вы не умеете врать, то есть, если вам нечего сказать от себя, то и говорить не надо. Все остальное будет компиляцией. А компилировать — значит, и красть, и выдавать чужое без ссылок и кавычек, и даже сказать то, что лежит на поверхности, то, что видели и слышали до тебя все. Посмотрите, какой фразой-иронией стало чеховское «Волга впадает в Каспийское море...». Ну да ладно. Хватит про это, лучше расскажите о своем путешествии. Мне сказали, что вы все реки мира прошли.

— Вот тут кто-то вам действительно наврал. Камчатские путешественники, к коим примазался и я, прошли на лодках почти все реки страны. Примерно двадцать две тысячи километров, от Камчатки до Одессы.

Я подробно рассказал варпету о всех тонкостях маршрута, о трудностях, о встречах, о планах. Потом я достал альбом, или как мы — экипаж двух лодок — называем боржурнал «Вулкана» и «Гейзера», и положил на стол перед варпетом.

— Что это? — спросил он.

— Этот журнал был предназначен для того, чтобы отметить в каждом населенном пункте, но потом он перерос

свое назначение. Кроме двух сотен печатей городов и записей должностных лиц, в этом журнале имеется рука Михаила Шолохова, космонавта Поповича, Михайло Стельмаха, Вольфа Мессинга, Фаины Раневской, Тиграна Петросяна, Леонида Жаботинского...

— А это кто такой?

С такой непосредственностью и искренностью справлялся он о Жаботинском, что, забыв, где нахожусь, я не выдержал и захохотал.

Мартирос Сергеевич, которого во время всей беседы ни на минуту не покидало чувство юмора, понимающе поддержал меня. Он смеялся, стараясь не отстать от меня.

— Спортсмен есть такой, штангист, самый сильный человек в мире, — сказал я, едва сдерживая непрекращающийся смех.

— Да, да, да! — Мартирос Сергеевич поднял руки, развел их в стороны, показывая, какой громадный этот Жаботинский. — Знаю, знаю.

Мартирос Сарьян лист за листом просматривал наш журнал, внимательно вчитываясь в каждую строчку. Я подумал о моих друзьях по путешествию, об Анатолии Сальникове и Анатолии Гаврилине, которые при подобных ситуациях неизменно находились рядом.

Дойдя до последней страницы, варпет взял ручку, справился об именах и фамилиях и задумался.

— Надо писать, — едва слышно сказал он, — что-нибудь молодое, а я старик. Когда-то и я любил путешествовать, но у меня была цель. Не знаю, есть ли она и у вас. Если вы не напишете книгу, не поведаете нам о ваших впечатлениях, конечно, с известной примесью вранья, то грош цена вашим мучениям. Дело ваше молодое, задорное... — Мартирос Сергеевич стал выводить крупными буквами:

«Балаяну Зорику, Сальникову Анатолию, Гаврилину Анатолию. Желаю удачно завершить свой фантастический переход на лодках из Тихого до Атлантического океана и рассказать нам о впечатлениях, радостях на далеком пути. Желаю вам здоровья и счастья для завершения этого по-юношески задорного замысла.

Будьте счастливы и молоды!

От всего сердца желаю больших впечатлений и встреч.

Мартирос Сарьян».

Текст занял две трети страницы. На оставшемся месте художник нарисовал силуэт двуглавого Арарата и, улыбаясь, сказал тихо:

— Это самый главный автограф моей жизни.

Мы стали прощаться. Варпет протянул мне руку и, как бы спохватившись, спросил:

— Когда мне рассказывали о вас, то сказали, что скоро здесь выходит ваша книга. О чем она?

— Да так, обо всем. Иногда, как вы говорите, вру, иногда, особенно в страницах из дневника, пишу только правду.

— И какую?

— Например, такую. «Камчатка. Армения. Очень много схожего между ними. И там величественные горы и здесь. Там нет в продаже знаменитой камчатской красной икры, здесь — знаменитой севанской форели».

Мартирос Сергеевич, не отпуская моей руки, смеялся так усердно, что я, грешным делом, испугался. Все-таки он еще слаб после перенесенного гриппа.

— Да, такую правду можно подать без всякого соуса из вранья. — Потом вдруг посерьезнел и сказал: — Где бы вы ни были, а я вижу, вы непоседа, будьте всегда достойным Армении, будьте се полпредом. Не подводите ее ничем дурным. Вы еще поедете на Камчатку?

— Конечно.

— Передайте вашим художникам, я опять про вранье, пусть они научатся искусству «врать», врать по-хорошему. Так, чтобы жители Камчатки им поверили. До свидания!

— Я непременно передам им. До свидания!

Дома я еще раз посмотрел на рисунок Сарьяна в нашем альбоме. Силуэт Арарата с двумя вершинами очень похож был на силуэты Авачинской и Корьякской сопки — гордости Камчатки.